

Митра Папилин

Сторона Б

роман



сто первое, на юг. «Становись после поворота,
где прямо».

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

1975—1985

СТОРОНА А — УЗЫД
СТОРОНА Б — ТВО

18+

Митра Папилин

Сторона Б

«Автор»

2026

Папилин М.

Сторона Б / М. Папилин — «Автор», 2026

Осень 1975 года. В орегонском городке Сент-Эльмо на берегу Тихого океана закрывается консервный завод, и двадцатилетний Уэйд Хэллоран остаётся без работы. Отец утонул, брат вернулся из Вьетнама и молчит, подруга ждёт свадьбы. Уэйд выходит на шоссе с армейским мешком и магнитофоном брата и поднимает руку. Следующие десять лет он ищет ответ на вопрос, зачем живёт. Ответ ему подсказывают люди, которые останавливаются у обочины. А когда Уэйд его находит, родной город решает, что он сошёл с ума.

© Папилин М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Сторона А	5
Глава первая. Сент-Эльмо	6
Глава вторая. Дэнни	11
Глава третья. Скрипач	16
Глава четвёртая. Лосиный ручей	21
Глава пятая. Яблоки	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Митра Папилин

Сторона Б

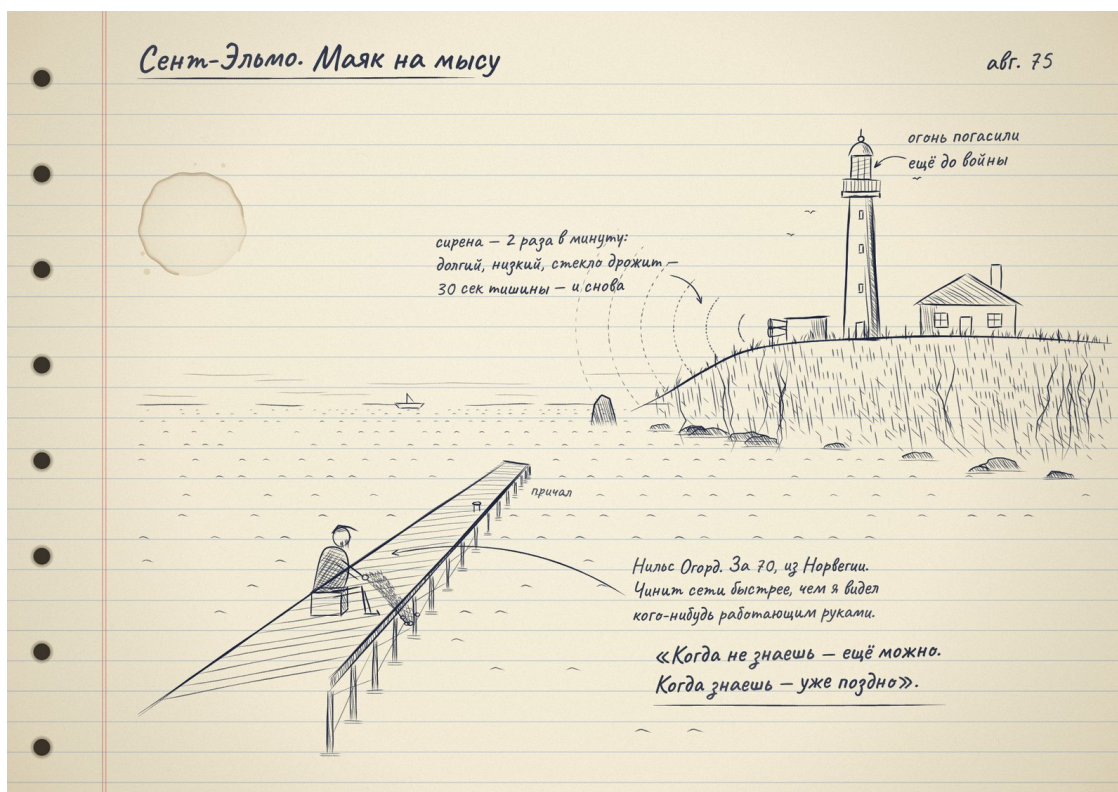
Часть первая. Сторона А

18+

Содержит нецензурную брань

В книге есть сцены интимного характера, описания насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табака. Автор их не одобряет и показывает их последствия.

Глава первая. Сент-Эльмо



Мой племянник Нил, сын моего брата, носит в кармане белую коробочку размером с колоду карт, в которую, как он говорит, помещается тысяча песен. Однажды он дал мне послушать: вставил мне в уши два белых шарика на проводе и стал крутить пальцем по кругу на её лицевой стороне, и песни побежали одна за другой, так быстро, что я не успевал понять, что слышу, а Нил смеялся. Ему девятнадцать, он считает, что я человек из другого века, и он прав, хотя мне всего пятьдесят один.

Я сказал ему тогда, что у меня тоже был плеер, и он спросил, сколько в него помещалось. Одна кассета, ответил я, сорок пять минут на сторону. Он подумал, что я шучу.

Я не шутил, и об этом, наверное, весь этот рассказ — о том, что когда у тебя одна кассета, ты слушаешь её иначе. Ты знаешь, какая песня будет следующей, ещё до того, как кончится предыдущая; знаешь, где на плёнке заломлено и где звук на секунду уйдёт вбок, и в каком месте сторона кончится, так что нужно будет открыть крышку и перевернуть кассету. Ты живёшь внутри этих сорока пяти минут, как в комнате. Я прожил так почти десять лет — не в одной комнате, а в нескольких, и каждая из них была дорогой.

Но начать нужно не с плеера и не с дороги. Начать нужно с Сент-Эльмо.

* * *

Сент-Эльмо — это город на южном побережье Орегона, между Порт-Орфордом и Голд-Бич. Если вы ехали когда-нибудь по сто первому шоссе от Кус-Бэй на юг, к Калифорнии, вы через него проезжали и, скорее всего, его не заметили. Там была заправка «Тексако», закусочная «Морской лев», почта, две церкви, лесопилка Харпера на реке и консервный завод у причала, где разделявали лосося и крабов. Ещё был маяк на мысу, хотя маяком его называли по привычке: огонь на нём погасили ещё до войны, и осталась только туманная сирена, кото-

рая гудела каждую ночь с октября по апрель и почти каждую ночь летом. В Сент-Эльмо жило тысяча восемьсот человек, так было написано на щите при въезде, и цифра эта не менялась все годы, что я там прожил, хотя люди рождались, умирали и уезжали; думаю, никто просто не хотел перекрашивать щит.

Город назвали в честь огней святого Эльма. Мне рассказывал это старый Нильс Огорд, который чинил сети на причале и знал про город всё, что можно было знать. Будто бы в тысяча восемьсот каком-то году шхуна, шедшая из Сан-Франциско за лесом, попала здесь в грозу, и матросы увидели на верхушках мачт синие огни, которые горели долго, и шхуна не разбилась, хотя должна была, а капитан, сойдя на берег, сказал, что поселится тут. Нильс рассказывал это так, будто сам стоял тогда на палубе. Потом, правда, выяснилось, что первые поселенцы были золотоискатели с реки Рог и никакой шхуны не было, но Нильсу я поверил раньше, чем узнал правду, а эту раннюю веру уже нельзя было отменить.

Мой отец, Фрэнк Хэллоран, ловил лосося на тролловом судне «Эстер», которое он купил в долг у человека из Брукинса, и утонул в ноябре шестьдесят шестого года, когда мне было одиннадцать. «Эстер» нашли через два дня у скал южнее мыса, перевёрнутую, а отца не нашли совсем. Мать долго потом говорила, что это хорошо, потому что она запомнила его живым, а если бы его нашли через неделю в воде, она бы запомнила другое. Я тогда не понимал, как это может быть хорошо. Теперь, кажется, понимаю, но не до конца.

Мать звали Рут. Она работала в почтовом отделении: сидела за деревянной стойкой с решёткой, продавала марки, взвешивала посылки и знала про каждого в городе, кому он пишет и кто пишет ему, но никогда никому об этом не рассказывала, даже нам с братом, и в городе это ценили. Она была невысокая, сухая, с короткими пальцами, которые всегда пахли клеем от марок, и очень редко повышала голос; когда она сердилась, она начинала говорить тише, и это было хуже всякого крика.

Брат мой Дэнни был старше меня на четыре года. В семидесятом его призвали, и он год прослужил во Вьетнаме, в провинции, название которой ни разу при мне не произнёс, а летом семьдесят первого вернулся, худой и загорелый, пошёл работать на лесопилку Харпера и с тех пор работал там. О войне он не говорил. Иногда, если выпивал, он говорил о другом: о том, какая там была трава, высокая, выше головы, и как она резала руки. Больше ничего.

* * *

В семьдесят пятом году мне исполнилось двадцать. Школу я окончил в семьдесят третьем и два года работал на консервном заводе, стоял у ленты, по которой шли лососи, уже без голов, и срезал с них плавники. Работа была простая и холодная; к концу смены руки переставали чувствовать что-либо, кроме холода, и, придя домой, я долго держал их под горячей водой. Платили неплохо. Половину я отдавал матери, а половину откладывал, сам не зная на что, в жестянку из-под кофе «Фолджерс», которая стояла у меня на полке в шкафу.

В августе семьдесят пятого завод закрылся.

Про это говорили давно, потому что лосося становилось меньше с каждым годом, а компания, которой принадлежал завод (она была из Сиэтла, и никто из нас ни разу не видел её хозяев), уже два года грозила перевести всё в Асторию. В июле повесили объявление, а двадцать девятого августа мы отработали последнюю смену. Мистер Кроуфорд, управляющий, стоял у выхода и пожимал каждому руку. Он был местный, вырос в Сент-Эльмо, и ему, наверное, было хуже, чем нам, потому что он должен был стоять у этой двери, а мы могли просто пройти мимо.

На заводе работало девяносто человек, и почти все остались в городе. Кто-то пошёл на лесопилку, но лесопилке не нужно было девяносто человек; кто-то поехал на север, в Кус-Бэй, на верфи; женщины, которые работали на упаковке, по большей части просто остались дома. А я во вторник, сразу после Дня труда, поехал с Томми Сайксом в Голд-Бич, где было бюро по безработице, и мы простояли там в очереди полтора часа, после чего женщина в очках

с цепочкой спросила меня, какая у меня специальность, и я не знал, что ответить. Я сказал: «Резчик». Она посмотрела на меня поверх очков и написала что-то в карточке.

Пособие было маленькое — его хватало, чтобы отдать матери, но откладывать в жестянку уже было нечего.

* * *

Я хочу описать, каким было то лето, потому что потом, когда я был далеко, я часто его вспоминал и не мог понять, что именно вспоминаю. Ничего особенного в нём не было. Я вставал поздно, потому что вставать было незачем: мать уходила на почту в восемь, Дэнни на лесопилку в шесть, и я просыпался в пустом доме и слушал, как на кухне капает кран, который мы с Дэнни всё собирались починить и не чинили. Потом пил кофе, жарил себе яйца и шёл к причалу.

На причале сидел Нильс Огорд и чинил сети. Ему было за семьдесят; родом он был из Норвегии, но приехал в Америку мальчишкой и говорил без акцента, только иногда ставил слова в странном порядке. Пальцы у него были толстые и кривые, а работал он ими быстрее, чем я когда-либо видел, чтобы кто-нибудь работал руками. Я садился рядом на ящик и смотрел.

Иногда мы разговаривали, но чаще молчали. Нильс не любил, когда его спрашивали о море: он говорил, что люди, которые спрашивают о море, хотят услышать что-нибудь красивое, а красивого он про море сказать не может. Но однажды, в тот август, когда я сидел у него третий или четвёртый день подряд, он вдруг сказал, не поднимая головы:

— Ты теперь куда?

Я сказал, что не знаю.

— Это хорошо, — сказал он. — Когда не знаешь, ещё можно. Когда знаешь, уже поздно.

Я спросил, что значит «можно», но он пожал плечами и больше ничего не сказал. Я долго потом об этом думал, и мне казалось, что он сказал что-то важное, а я его не понял. Теперь мне кажется, что он, может быть, и сам не очень понимал, что сказал: просто так у него вышло, как у человека, который всю жизнь вяжет узлы и иногда завязывает их машинально, а потом смотрит, и узел держит. Но тогда эти слова застряли во мне, и я носил их с собой.

* * *

Ещё в то лето была Кэрл.

Кэрл Линдквист я знал с первого класса, но встречаться мы начали в последний год школы, на танцах в гимнастическом зале, куда я пришёл только потому, что Томми Сайкс одолжил у брата машину и нужно было кого-нибудь подвезти. Кэрл была высокая, выше меня на полдюйма, с белыми бровями и белыми ресницами, так что глаза её казались голыми. Смеялась она громко, закидывая голову назад, и стеснялась этого, и прикрывала рот рукой, но всегда поздно. Отец её держал скобяную лавку на главной улице, и она ему помогала: стояла за прилавком и продавала гвозди, краску и рыболовные крючки.

Мы встречались два года, и все в городе считали, что мы поженимся. Мать так считала. Считал и мистер Линдквист, который уже, кажется, начинал поглядывать на меня как на будущего хозяина лавки: однажды он показал мне, как ведёт учётную книгу, и показал так подробно, что я понял, к чему это. Кэрл, наверное, тоже считала. Прямо мы об этом никогда не говорили, но иногда она начинала фразы словами «когда у нас будет», и я не возражал.

Я не знаю, любил ли я её. Это трудно сказать про себя двадцатилетнего, когда тебе пятьдесят один: тот человек кажется не совсем тобой, и ты не можешь отвечать за его чувства. Мне с ней было хорошо. Мне нравилось, как она пахнет, — машинным маслом и мятной жевательной резинкой, нравилось сидеть с ней вечером на капоте машины у маяка и смотреть, как туман приходит с моря. Но когда она говорила «когда у нас будет», я ощущал что-то такое, чему не мог найти названия. Как будто закрывается дверь — не сразу, а медленно, на смазанных петлях, и ты видишь, как полоса света становится всё уже.

Я не хочу сказать, что Кэрол была дверью; она была ни в чём не виновата. Дверью был весь город, а может быть, и не город, а я сам, такой, каким я был в нём. Но тогда я этого не понимал, а понимал только, что иногда, когда Кэрол засыпала у меня на плече, мне хотелось встать и пойти куда-нибудь — всё равно куда, хоть по пляжу на юг, пока не устанут ноги.

* * *

Лучше всего я помню вечера.

Вечером мать возвращалась с почты и готовила ужин, а Дэнни приходил позже, пахнувший опилками и машинным маслом, мылся во дворе из шланга, если было тепло, и садился за стол с мокрыми волосами. Ели мы молча: у нас в семье вообще мало говорили за столом, так было и при отце, и после него. Мать иногда рассказывала что-нибудь из почтовых новостей, но без имён (кто-то получил посылку из Германии, кто-то отправил письмо в Конгресс), и мы с Дэнни кивали.

После ужина Дэнни уходил к себе, в пристройку, которую отец когда-то сделал для сетей и снастей, а Дэнни, вернувшись, утеплил. Он сам сколотил туда кровать, поставил стол и полку, и оттуда по вечерам было слышно радио. Он слушал станцию из Кус-Бэй, а когда её глушило, крутил ручку и искал Сан-Франциско. Иногда он записывал песни на магнитофон: держал микрофон у динамика и нажимал кнопку, когда начиналось что-нибудь, что ему нравилось. У него были целые кассеты таких записей, с обрезанными началами и с голосом ведущего в конце.

Я иногда заходил к нему. Он не прогонял меня, но и не звал, так что я садился на пол у стены, и мы слушали вместе. Он не спрашивал меня ни о заводе, ни о Кэрол, ни о том, что я собираюсь делать, а я не спрашивал его ни о чём. Это было, наверное, самое близкое, что у нас с ним тогда было: сидеть в его комнате и слушать радио, которое трещит от тумана.

В те вечера я впервые подумал, что ненавижу Сент-Эльмо, и сразу испугался этой мысли, потому что это было неправдой. Я не ненавидел его, я его любил — туман, причал, Нильса, мать за решёткой почты, запах водорослей во время отлива. Но в этой любви было что-то, от чего хотелось уйти. Так бывает в комнате, где слишком жарко натоплено: тебе хорошо, и при этом ты знаешь, что если пробудешь здесь ещё час, то уснёшь и проснёшься с тяжёлой головой.

Я пытался объяснить это себе по-разному. Говорил себе, что дело в заводе, что у меня нет работы и поэтому мне всё не мило; говорил, что дело в отце, что он ушёл в море и не вернулся, а я с тех пор боюсь моря и поэтому хочу уйти от него подальше. Это были хорошие объяснения, понятные, мать бы их приняла. Но я знал, что дело не в этом, хотя не знал, в чём.

Мне было двадцать лет, и мне казалось, что где-то есть что-то, ради чего стоит жить, и что оно не здесь. Я не мог бы сказать, на что это похоже, потому что не ждал ни славы, ни денег, ни какой-то особенной любви. Я ждал (я сейчас подбираю слово и не могу подобрать), что однажды мне станет ясно; что я пойму, зачем я. Вот так, совсем просто: зачем я. Мне казалось, что люди вокруг меня либо уже поняли это, либо никогда не задавались этим вопросом, и я завидовал и тем и другим.

Сейчас я знаю, что этот вопрос задают себе почти все и что почти никто не получает на него ответа в двадцать лет. Но тогда я был уверен, что это происходит только со мной. И ещё я был уверен, что если ответ существует, то его нужно искать, ехать за ним, как за работой, как за лососем, который ушёл от берега.

* * *

В начале сентября ночью гудела сирена, и я не мог уснуть. Я лежал и считал: она гудела два раза в минуту, долгим низким звуком, от которого дрожало стекло, потом тридцать секунд тишины, и снова. Я знал этот звук всю жизнь. В детстве я его боялся, потом перестал замечать, а когда утонул отец, снова стал слышать, каждую ночь, всю зиму шестьдесят шестого, и мне тогда казалось, что сирена зовёт «Эстер» домой и будет гудеть, пока «Эстер» не придёт.

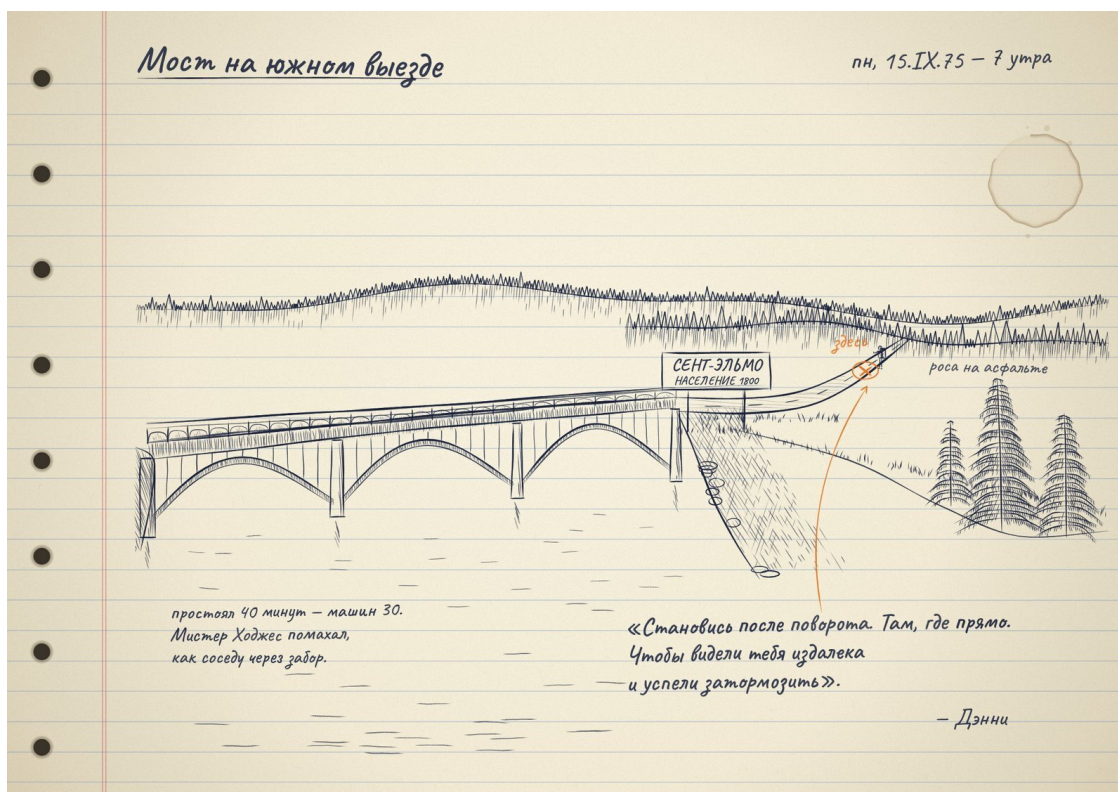
В ту сентябрьскую ночь я лежал и думал, что сирена гудит для тех, кто в море, чтобы они знали, где берег, и не разбились. А для тех, кто на берегу, она не гудит ни для чего: мы её просто слышим, и нам она ничего не говорит.

Я встал, оделся и вышел на улицу. Туман был такой, что фонарь у почты казался размытым пятном. Я дошёл до причала, где Нильса, конечно, не было; пахло мокрыми досками и рыбой, хотя рыбы на заводе не было уже неделю. Я постоял у края, где вода чмокала о сваи, и подумал, что уеду.

Это не было решением. Решение — это когда ты взвешиваешь, сравниваешь, выбираешь, а тут не было ничего такого. Я просто подумал, что уеду, и сразу понял, что это уже правда, как бывает, когда ты наконец вспоминаешь слово, которое долго вертелось на языке, и потом уже не можешь его не знать.

Я вернулся домой, лёг и уснул сразу, хотя сирена гудела по-прежнему.

Глава вторая. Дэнни



Первой я сказал матери, в субботу, за завтраком. Дэнни ещё спал — по субботам лесопилка не работала, и он спал до десяти, а иногда до одиннадцати, и мать никогда его не будила. Мы сидели вдвоём на кухне, и кран капал.

Я сказал, что хочу уехать. Она спросила куда, и я ответил, что не знаю, может быть, на юг, в Калифорнию, или на восток, посмотрю. Она спросила, на чём. Я сказал, что поеду стопом.

Она долго молчала, потом встала, налила себе ещё кофе, хотя её чашка была почти полная, и снова села.

— Ты помнишь, — сказала она, — как отец уходил в море?

Я сказал, что помню.

— Он всегда уходил до рассвета. Я вставала и делала ему бутерброды. И он всегда говорил одно и то же, когда уходил. Ты помнишь, что он говорил?

Я не помнил, и мне стало стыдно, что я не помню. Я сказал, что нет.

— Он говорил: «Не жди меня к ужину». Каждый раз. Даже если уходил на день. Даже если знал, что вернётся к обеду. Я его спросила однажды, почему он так говорит. Он сказал: «Чтобы ты не ждала». — Она отпила кофе. — Я всё равно ждала. Каждый раз.

Я не знал, что на это ответить. Она смотрела на меня, и лицо у неё было спокойное, только губы немного сжаты.

— Я не буду тебя отговаривать, — сказала она. — Ты взрослый. Только пиши мне. Я на почте, мне не трудно будет получать.

Это была шутка, единственная, которую я от неё слышал за много месяцев, и я засмеялся, а она нет. Она встала и начала мыть посуду, хотя посуды было всего две тарелки, а я сидел и

смотрел ей в спину. Мне хотелось подойти и обнять её, но у нас в семье это было не принято, и я не подошёл, о чём потом много раз жалел.

* * *

Кэрол я сказал в тот же вечер, у маяка. Мы сидели на капоте её отцовского «Шевроле», и был тот час, когда солнце уже село, а туман ещё не пришёл, и море было серое и гладкое, как жёсть.

Я сказал ей прямо. Я хотел сказать как-нибудь мягче и весь день придумывал, как, но когда дошло до дела, вышло прямо: «Я уезжаю».

Она не стала спрашивать куда, а спросила:

— Надолго?

Я сказал, что не знаю.

— Тогда это навсегда, — сказала она. — Если не знаешь, значит, навсегда.

Я стал говорить, что нет, что я вернусь, что мне просто нужно посмотреть, что я не могу сидеть здесь без работы, что в Калифорнии, говорят, есть работа на фермах и на стройках, что я буду писать. Я говорил долго и чувствовал, что говорю неправду, хотя ни одно слово не было ложью. Она слушала не перебивая, а потом сказала:

— Ты не из-за работы.

Я замолчал.

— Ты не из-за работы, — повторила она. — Папа предлагал тебе место в лавке. Ты отказался. Ты не из-за работы, Уэйд.

Это была правда. Мистер Линдквист в августе, сразу как закрылся завод, предложил мне стоять за прилавком, пока не найду что-нибудь лучше, а я сказал, что подумаю, и не пришёл. Я не думал, что Кэрол об этом знает.

— Я не знаю, из-за чего, — сказал я.

Это была первая правдивая вещь, которую я сказал ей за вечер, и она кивнула, как будто именно этого и ждала. Потом засмеялась коротко, без звука, одним выдохом, и сказала:

— Знаешь, что самое глупое? Я тебе даже не могу сказать «не уезжай». Потому что ты спросишь почему, а я скажу «потому что я тебя люблю», а ты скажешь «я тоже», и всё равно уедешь. И тогда будет ещё хуже.

Мы посидели ещё, пока не пришёл туман и не загудела сирена.

Потом Кэрол слезла с капота, открыла заднюю дверь «Шевроле» и села внутрь, оставив дверь открытой. Я постоял немного и сел к ней.

Мы спали вместе с весны семьдесят четвёртого, всегда в этой машине или на одеяле в дюнах за маяком, потому что больше было негде: у неё дома был отец, у меня — мать, и Дэнни за стенкой пристройки. Мы делали это торопливо, неловко, с оглядкой на дорогу, как делают все в маленьких городах, где у каждой машины есть хозяин и каждого хозяина знают в лицо, и я думал, что так и должно быть, что по-другому не бывает.

В тот вечер было по-другому. Кэрол раздевала меня сама, медленно, пуговицу за пуговицей, и смотрела, как будто хотела запомнить; она не торопилась и не давала торопиться мне, а когда я потянулся выключить плафон под потолком, отвела мою руку. Стёкла запотели, туман снаружи и туман внутри стали одного цвета, и сирена гудела где-то совсем рядом, два раза в минуту, и в паузах между гудками я слышал, как Кэрол дышит у моего уха. Она была сверху и упиралась ладонью в низкий потолок машины, и волосы у неё падали мне на лицо и пахли, как всегда, машинным маслом и мятой. Я помню, что всё время хотел что-то ей сказать и не знал что, а потом перестал хотеть.

Потом она лежала, уткнувшись мне в шею, и плакала, тихо, без звука, так что я понял это только потому, что шее стало мокро.

— Это чтобы ты не думал, что я на тебя злюсь, — сказала она наконец, не поднимая головы. — Я злюсь. Но это отдельно.

Мы оделись, Кэрол перелезла за руль, протёрла рукавом лобовое стекло и отвезла меня домой. Когда я выходил из машины, она сказала:

— Только не пиши мне. Матери пиши, а мне не надо.

Я обещал и сдержал это обещание, и это было, может быть, самое честное, что я сделал для неё за всю жизнь.

* * *

Дэнни я ничего не говорил. Я думал, что мать ему скажет, и она, наверное, сказала, потому что в воскресенье вечером он сам пришёл ко мне в комнату и встал в дверях — высокий, сутулый, в клетчатой рубашке, которую носил, сколько я его помнил после армии, с магнитофоном в руках.

Это был его «Панасоник», чёрный, с серебристой решёткой динамика и ручкой для переноски, размером с толстую книгу. Дэнни купил его в семьдесят втором году в Кус-Бэй за шестьдесят долларов, очень его берёг и записывал на нём свои песни с радио.

— Держи, — сказал Дэнни и протянул мне магнитофон.

Я не взял и сказал, что не могу.

— Бери, — сказал он. — У меня ещё радио есть. А тебе там нечего будет слушать.

Он поставил магнитофон на мою кровать и вынул из кармана три кассеты, перетянутые резинкой.

— Это мои, — сказал он. — Я их сам писал. Там всякое. Если не понравится, можешь поверх записать.

Я взял кассеты. На каждой его неровным почерком, печатными буквами, было написано: «ДЭННИ 1», «ДЭННИ 2», «ДЭННИ 3», и больше ничего: ни названий, ни дат.

Я хотел сказать ему спасибо и не смог, потому что что-то застряло в горле. Дэнни, кажется, тоже не знал, что делать дальше: он постоял в дверях, посмотрел на меня, потом на окно, потом снова на меня.

— Когда я ехал туда, — сказал он, и я понял, что он говорит о Вьетнаме, хотя он не назвал его, — я думал, что там что-то пойму. Ну, что-то про жизнь. Все так говорили — съездишь, вернёшься мужчиной. — Он помолчал. — Ничего я там не понял.

Я ждал, что он скажет что-нибудь ещё, но он не сказал, а кивнул мне и ушёл к себе, и через несколько минут я услышал из пристройки его радио: Кус-Бэй, прогноз погоды для рыбаков, ветер северо-западный, от пятнадцати до двадцати узлов, волна шесть футов.

Я тогда не понял, зачем он мне это сказал. Мне показалось, что он хотел меня отговорить и не нашёл слов или, может быть, хотел сказать: «Не надейся, там тоже ничего нет». Я обиделся на него за это, потому что мне было двадцать и не хотелось, чтобы кто-то заранее говорил мне, что я ничего не найду.

Я понял его много лет спустя, и понял совсем иначе. Он не отговаривал меня. Он говорил мне правду о себе, ту единственную правду, которую мог выговорить, и отдавал её мне вместе с магнитофоном, потому что больше ему нечего было мне дать. Он говорил: я был там, где ты собираешься быть, далеко от дома, среди чужих людей, в ожидании, что тебе откроется что-то, и мне ничего не открылось. Может быть, тебе откроется, а может быть, нет. Я не знаю. Я знаю только, как было со мной.

Это было больше, чем мне дал кто-либо другой в Сент-Эльмо. Но я понял это только через девять лет.

* * *

В ту ночь я поставил кассету «ДЭННИ 1» и слушал её с выключенным светом, положив магнитофон на подушку рядом с головой и убавив громкость до самой маленькой, чтобы не разбудить мать.

Там были песни, которые я знал, и песни, которых я никогда не слышал. Была «Take It Easy» «Иглз», с обрезанным началом. Была «Carefree Highway» Гордона Лайтфута, которую

Дэнни, видимо, очень любил, потому что она была записана два раза подряд, и во второй раз начало было целым. Была «Ramblin' Man» «Олман Бразерс Бэнд», хотя её название я узнал только через полгода: песня о человеке, который родился бродягой и нигде не может осесть надолго, и это было так похоже на меня, что я сначала подумал, будто Дэнни выбрал её нарочно. Потом я узнал, что он записал её в семьдесят третьем году, когда я ещё был в школе и ни о чём таком не думал. Между песнями был слышен треск эфира и иногда голос ведущего, который говорил что-нибудь вроде «а теперь для всех, кто сегодня в дороге». В одном месте, в середине второй стороны, сразу после «Cat's in the Cradle» Гарри Чапина, музыка обрывалась, и было слышно, как Дэнни кашляет, а потом шелчок, и сразу начиналась «Doctor My Eyes» Джексона Брауна. Я слушал этот кашель несколько раз, перематывая назад и слушая снова, потому что это было единственное место на кассете, где был слышен сам Дэнни.

Я уснул, не дослушав вторую сторону, а утром магнитофон стоял на подушке, и кнопка «стоп» выскочила сама, когда кончилась плёнка.

* * *

Я уехал через неделю, в понедельник, пятнадцатого сентября семьдесят пятого года.

Сборы мои заняли полчаса. У меня был армейский вещевой мешок Дэнни: зелёный, брезентовый, с его фамилией и номером, выведенными по трафарету, и в него я положил две пары джинсов, четыре рубашки, свитер, который связала мать, носки, бельё, бритву, зубную щётку, кусок мыла, фонарик, складной нож и карту западных штатов из тех бесплатных, что давали на заправке «Тексако». Ещё я положил три кассеты Дэнни, пять чистых, которые купил в Голд-Бич, и запасные батарейки для магнитофона, восемь штук, тяжёлых, круглых; они перекатывались на дне мешка и стучали. Магнитофон я завернул в свитер.

Деньги я пересчитал накануне. В жестянке «Фолджерс» было двести двенадцать долларов, и я разделил их на три части: сто положил в бумажник, восемьдесят зашил в подкладку куртки (так меня научил Нильс, когда я сказал ему, что уезжаю), а тридцать два оставил матери на столе под сахарницей. Она их потом нашла и, как я узнал много позже, так и не потратила; они лежали у неё в шкатулке до самой её смерти.

Нильсу я сказал за два дня до отъезда. Он кивнул, не отрываясь от сетки, и сказал: «Деньги в подкладку». Потом добавил: «И не садись к пьяным. И никогда не садись туда, где сзади кто-то лежит под одеялом». Я спросил почему, и он посмотрел на меня как на дурака. Больше он ничего мне не сказал, и я пожал ему руку, похожую на кусок мокрой коряги, и ушёл. Я больше его не видел. Он умер в семьдесят девятом году, и мать написала мне об этом в письме, которое догнало меня в Вайоминге.

* * *

Утром в понедельник Дэнни отвёз меня на шоссе. Он встал раньше обычного, и, когда я вышел на кухню, уже сидел там в куртке и пил кофе. Мать тоже встала. Она сделала мне бутерброды с ветчиной и сыром, завернула их в вощёную бумагу и положила в бумажный пакет, а потом подумала и положила туда ещё два яблока.

Мы не говорили ничего особенного. Она спросила, взял ли я свитер, и я сказал, что взял; она сказала, чтобы я писал, и я сказал, что буду. Потом она обняла меня: быстро и неловко, одной рукой, как будто боялась, что если обнимет двумя, то не отпустит, и сказала:

— Не жди меня к ужину.

Я не сразу понял, что она сказала, а когда понял, она уже отвернулась к плите.

Дэнни вёз меня на своём «Форде» до южной окраины, где сто первое выходит из города и идёт через мост над рекой. Ехать было три минуты, и мы молчали. На мосту он остановился на обочине, я вылез и достал мешок с заднего сиденья.

— Ну, — сказал Дэнни.

— Ну, — сказал я.

Он сидел за рулём и смотрел вперёд, на шоссе, которое уходило на юг между холмами, поросшими ельником. Туман уже поднимался, и было видно далеко.

— Становись после поворота, — сказал он. — Там, где прямо. Чтобы видели тебя изда- лека и успели затормозить. Тут никто не остановится, тут поворот.

Я не знал, откуда он это знает: может быть, он когда-то сам ездил стопом, а может быть, просто подумал. Он вообще был такой: думал о вещах, о которых никто не просил его думать, и говорил о них, только когда было уже нужно.

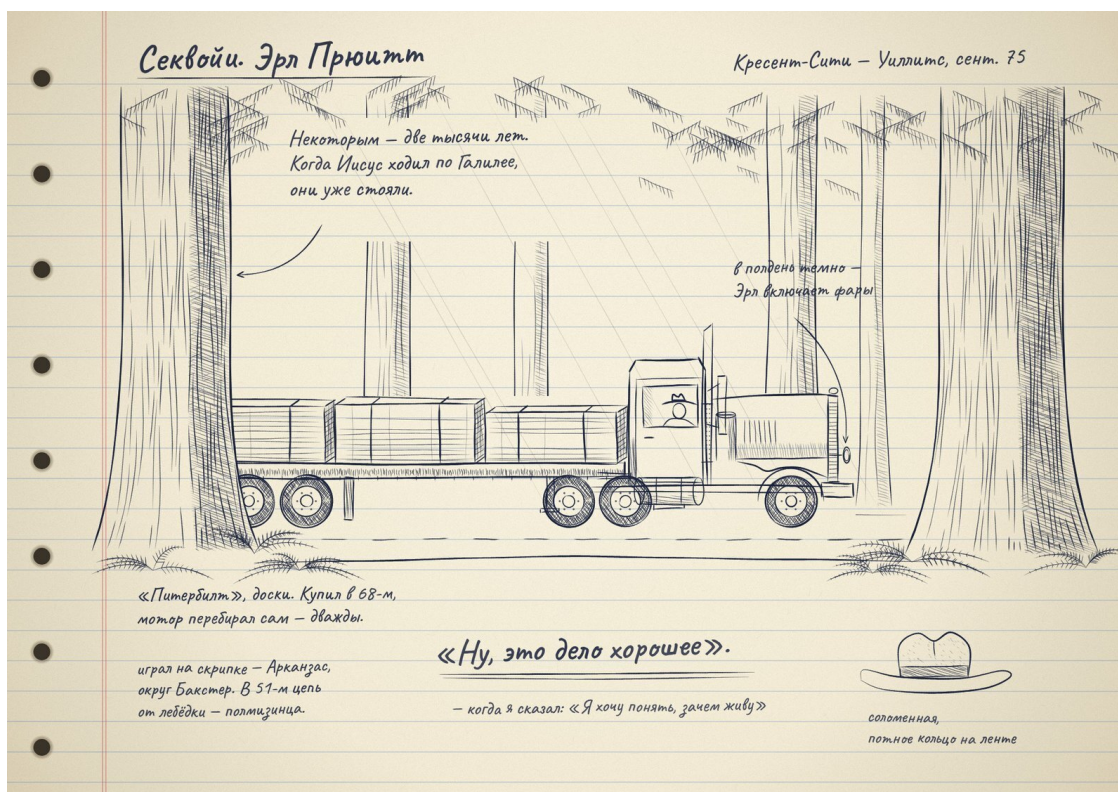
— Спасибо, — сказал я.

— Давай, — сказал он и уехал.

Я смотрел, как его «Форд» разворачивается на мосту и уезжает обратно в город, потом закинул мешок на плечо и пошёл вперёд, за поворот, туда, где шоссе становилось прямым. Было семь утра, солнце только поднималось над холмами, и на асфальте лежала роса. Я встал на обочине, поставил мешок у ног и поднял руку с выставленным большим пальцем.

Первая машина проехала мимо. Вторая тоже. Я стоял и смотрел на юг.

Глава третья. Скрипач



Я простоял на мосту сорок минут, и за это время мимо меня прошло, наверное, машин тридцать: грузовики с лесом, пикапы, легковые, трейлер с катером на прицепе. Некоторых водителей я знал в лицо. Мистер Ходжес, который держал бензоколонку в Офире, проехал мимо и помахал мне рукой — дружелюбно, как машут соседу через забор; он, наверное, подумал, что я кого-то жду.

Я тогда впервые испытал чувство, которое потом стало мне знакомо так же, как голод или холод, — чувство человека, стоящего у дороги. Его трудно описать тому, кто никогда не стоял. Ты стоишь, и мимо тебя едут люди, и каждый из них в эту секунду решает, остановиться ему или нет, решает быстро, почти не думая, по каким-то признакам, которых ты не знаешь: по твоей куртке, по причёске, по тому, как ты держишь руку, по тому, хорошее ли у него сегодня настроение и не поругался ли он утром с женой. И каждый раз, когда машина проезжает мимо, ты чувствуешь, что тебя оценили и сочли негодным. Это глупо, и ты знаешь, что это глупо, что человек просто торопится, или боится, или у него полная машина детей, но всё равно чувствуешь. Тридцать раз за сорок минут.

Потом остановился старик на зелёном пикапе с собакой в кузове и довёз меня до Голд-Бич; он ничего не спросил, только сказал, что едет к дочери, и всю дорогу слушал по радио проповедь. В Голд-Бич я простоял ещё час, пока меня не взяла женщина с двумя детьми, которая ехала в Брукингс к сестре. Дети сидели сзади и смотрели на меня, а младший, лет четырёх, спросил, не бандит ли я. Мать велела ему замолчать, а я сказал, что нет. Он подумал и сказал: «А похож». Женщина извинилась, а я засмеялся, и это было первое за день, над чем я засмеялся.

В Брукингсе я сел на скамейку у заправки и съел один бутерброд матери. Было одиннадцать утра, я отъехал от дома на пятьдесят миль, и мне казалось, что это очень много.

* * *

Эрл Прюитт подобрал меня у границы с Калифорнией, сразу за сельскохозяйственным постом, где останавливают машины и спрашивают, не везёшь ли ты фрукты. Я дошёл туда пешком из Брукингса, подумав, что там машины всё равно тормозят и, может быть, кто-нибудь возьмёт. Это была правильная мысль — первая правильная мысль, которая пришла мне в голову в дороге. Я встал за постом, на широкой обочине, и через десять минут возле меня остановился тягач «Питербилт» с прицепом, груженным досками.

Кабина была высоко, и, чтобы забраться, нужно было встать на подножку и ухватиться за поручень. Водитель перегнулся через сиденье и открыл мне дверь.

— Куда? — спросил он.

Я сказал, что на юг.

— Юг большой, — сказал он. — Я до Санта-Розы. Годится?

Я сказал, что годится, и забрался внутрь. Мешок он велел бросить за сиденье, в спальник, где была узкая койка с серым одеялом, и я, вспомнив Нильса, сначала посмотрел, не лежит ли там кто-нибудь. Никто не лежал.

Ему было лет пятьдесят. Лицо у него было широкое, красное от загара, нос в мелких лопнувших сосудах, а на голове светлая соломенная ковбойская шляпа с потным кольцом на ленте. Руки большие, с толстыми пальцами, и на правой не хватало половины мизинца. Он вёл тягач спокойно, почти лениво, положив одну руку на руль сверху, а другую на рычаг, и переключал передачи без всякого усилия, как будто машина сама подсказывала ему, когда нужно.

На панели, слева от руля, был прикреплён маленький серый ящик с микрофоном на витом шнуре, и из него непрерывно шли треск и голоса, мужские, хриплые, говорившие на языке, которого я не понимал.

— Си-би, — сказал Эрл, заметив, что я смотрю. — Рация. Ты что, никогда не видел?

Я сказал, что видел у кого-то в городе, но не слышал, как работает.

— Тогда слушай, — сказал он. — Это лучше всякого радио.

И я слушал. Голоса говорили о погоде, о том, где на дороге стоят «медведи» (я не сразу понял, что это полицейские), о том, где хорошо кормят и где плохо, о том, что у кого-то лопнуло колесо под Кламатом и ему нужна помощь. Они называли друг друга странными именами: Чёрный Кот, Пастор, Ночная Сова, Мамаша Гусыня. Время от времени Эрл брал микрофон, нажимал кнопку и говорил что-нибудь, а в конце каждый раз добавлял: «Это Скрипач, на юг, сто первое».

Я спросил его, почему Скрипач.

— Играл раньше на скрипке, — сказал он. — Дома, в Арканзасе. На танцах. Мне было шестнадцать, я играл на всех танцах в округе Бакстер. — Он поднял правую руку и показал обрубок мизинца. — Потом вот это. Цепью от лебёдки, в пятьдесят первом. Больше не играл.

Он сказал это просто, как говорят о погоде.

* * *

Мы ехали через секвойи.

Я никогда раньше их не видел. Они начались сразу за Кресент-Сити и шли потом, с перерывами, почти до самого Юрика. Шоссе ныряло под них, как в тоннель, и в кабине становилось темно, хотя был полдень, так что Эрл включал фары. Стволы стояли вдоль дороги, рыжие, в глубоких бороздах коры, и были такие толстые, что я не мог понять, на что они похожи, потому что ничего такого же толстого я в жизни не видел. Я задираю голову и пытаюсь увидеть, где они кончаются, но из кабины этого не было видно.

Эрл заметил, что я смотрю.

— Первый раз?

Я сказал, что первый.

— Я тут двадцать лет езжу, — сказал он. — Раз, наверное, тысячу. И каждый раз смотрю. Не надоедает.

Он помолчал, потом добавил:

— Жена говорит, что я ради них и езжу на этом маршруте. Могла бы платить меньше за бензин, если бы я ездил по пятой. А я не хочу. Тут лучше.

Я спросил, сколько им лет, деревьям.

— Кто как, — сказал он. — Некоторым две тысячи. Говорят, есть и больше.

Я попробовал представить себе две тысячи лет и не смог. Я подумал, что когда Иисус ходил по Галилее, эти деревья уже стояли тут, только были, наверное, тоньше, и что они будут стоять, когда я умру, и когда умрут все, кого я знаю, и когда умрут их дети. Эта мысль не была ни страшной, ни утешительной. Она была как те деревья: слишком большая, чтобы её можно было разглядеть целиком: я задираю голову и не видел, где она кончается.

* * *

Эрл много говорил. Я потом понял, что он говорил бы столько же с любым: с солдатом, с хиппи, со старухой, со стулом, если бы стул сидел рядом с ним в кабине; такая у него была манера. Он говорил о своей жене, которую звали Лорен и которая работала медсестрой в больнице в Медфорде, и о детях, двух дочерях, обе уже замужем, одна в Портленде, другая в Техасе. О тягаче, который он купил в шестьдесят восьмом подержанным и с тех пор сам дважды перебирал мотор. О политике: он не любил Никсона, но и Форда тоже не любил, а больше всех не любил Джимми Картера, хотя Картер ещё прошлой зимой объявил, что пойдёт в президенты, и, кроме Эрла, его, кажется, никто всерьёз не принимал. Я не знаю, откуда Эрл вообще о нём знал. Ещё он говорил о ценах на бензин и о том, что с прошлого года скорость ограничили до пятидесяти пяти, и это его убивает, потому что теперь он проезжает за день на сто миль меньше, а платят ему по-прежнему с мили.

— Пятьдесят пять, — говорил он и хлопал ладонью по рулю. — Какой-то мудака в Вашингтоне сел, посчитал, сколько нефти сэкономит, и вот я теперь ползу, как беременная черепаха. А кто мне эти сто миль заплатит? Никсон? Хуй там. Никсон в Калифорнии, мемуары пишет.

Ругался он много и так спокойно, что первые полчаса я вздрагивал, а потом перестал замечать: ругательства были у него вместо запятых.

Я слушал и иногда спрашивал что-нибудь, чтобы показать, что слушаю, а через час он спросил меня, куда я на самом деле еду.

Я сказал, что не знаю.

— Это я понял, — сказал он. — Я спрашиваю, зачем.

Я стал говорить про завод, про работу, про то, что в Калифорнии, говорят, лучше. Он слушал, кивал, а потом сказал:

— Ладно. Не хочешь — не говори.

Я замолчал, и мне стало неловко, что он так быстро меня раскусил. Потом я сказал, сам не знаю почему, может быть, потому, что он был чужой человек и я больше никогда его не увижу:

— Я хочу понять, зачем живу.

Сказал и сразу пожалел, потому что это прозвучало глупо, как из книжки или из песни. Я ждал, что Эрл засмеётся, но он не засмеялся, а долго смотрел на дорогу и потом сказал:

— Ну, это дело хорошее.

И больше ничего не сказал, только через несколько миль взял микрофон и сообщил кому-то, что под Орриком на обочине стоит дорожная полиция с радаром.

Я тогда был немного разочарован. Мне казалось, что я сказал что-то важное и что он должен был ответить чем-нибудь важным: рассказать, как он сам это понял, или, наоборот, высмеять меня. А он сказал «дело хорошее» тем же тоном, каким сказал бы, узнав, что я решил

выучиться на сварщика. Теперь мне кажется, что это был лучший ответ, какой он мог мне дать. Он не стал делать вид, что знает, и не стал говорить, что мой вопрос глупый, а просто принял его как дело, которое есть у человека, как работу или дорогу, и пожелал мне его сделать.

* * *

Под вечер, когда мы уже прошли Гарбервилль и дорога пошла по долине реки Ил, Эрл вдруг спросил:

— Ты знаешь, почему я тебя взял?

Я сказал, что нет.

— Потому что ты правильно стоял.

И он стал объяснять. Я стоял за постом, где машины уже тормозят и им легко остановиться, на широкой обочине, где есть место для прицепа, и мешок держал у ног, так что было видно, что я его не прячу. Я не был в тёмных очках и смотрел на водителей, а не на дорогу.

— Большинство ваших стоят как попало, — сказал он. — На повороте. На мосту. Где негде встать. И потом ругаются, что никто не берёт. А ты стоял как надо.

Я не стал говорить ему, что это вышло случайно, а подумал о Дэнни, который сказал мне: «Становись после поворота, там, где прямо». Я не знал тогда, что дорога, по которой я буду ездить десять лет, начинается с этой фразы. Но Дэнни, кажется, знал, или хотя бы догадывался. Он не мог мне ничего объяснить о смысле жизни, но мог объяснить, где встать, чтобы тебя увидели издалека и успели затормозить.

— И ещё, — сказал Эрл. — Брейся. Не обязательно каждый день, но брейся. Бородатых берут хуже. И стригись. Сейчас такое время, что никто не хочет брать хиппи. Не потому, что они плохие, хиппи как хиппи, а потому, что про них в газетах пишут.

Я провёл рукой по подбородку: я брился в субботу.

— И не рассказывай всем подряд, что ищешь смысл жизни, — сказал Эрл и в первый раз за весь день улыбнулся. — Люди пугаются.

* * *

Он высадил меня в Уиллитсе, в восьмом часу вечера, у стоянки для грузовиков на въезде в город. Это было не там, где он обещал (он обещал до Санта-Розы), но он сказал, что дальше дорога пойдёт через город, а ночью меня там никто не возьмёт, тут же стоянка и кафе, можно поесть и переночевать на лавке, а утром водители будут выезжать. Я подумал, что он, наверное, просто устал от меня, и обиделся. Потом, когда я узнал дорогу лучше, я понял, что он был прав и высадил меня в самом удобном месте на сто миль вокруг.

Я спросил, сколько я ему должен, и он посмотрел на меня так, как Нильс смотрел, когда я спросил его про одеяло.

— Ты чего? — сказал он. — Иди поешь.

Я вылез из кабины и стащил мешок, а Эрл перегнулся через сиденье, чтобы закрыть за мной дверь, и сказал:

— Если будешь когда в Медфорде, спроси на стоянке у «Питербилта» Скрипача. Меня там все знают.

Я сказал, что спрошу.

— И вот что, — сказал он. — Я тебя не просто так взял. Мне скучно одному. Я двенадцать часов в день в этой кабине, жена дома, дочки разъехались. Кроме этой штуки, он кивнул на рацию, поговорить не с кем. А ты слушал. Так что мы квиты.

Он захлопнул дверь, тягач рыкнул, выпустил облако дыма и выехал со стоянки. Я стоял и смотрел, как задние огни прицепа уходят на юг, и он посигналил мне два раза коротко, на прощание.

Это была первая из тех встреч, о которых я потом думал всю жизнь, хотя тогда, конечно, этого не знал. Я думал, что он просто водитель, который подвёз меня до Уиллитса, как подвезут потом ещё сотни других, а важное ждёт меня впереди, в Калифорнии, в Неваде, где-то там,

куда я ещё не доехал. Я даже не записал его фамилию. Она осталась у меня в голове сама — Прюитт, Эрл Прюитт, Скрипач, — и я не знаю почему, ведь имена большинства людей, которые меня подвозили, я забыл.

* * *

В кафе на стоянке я съел гамбургер и выпил кофе, всё вместе за девяносто центов, потом вышел на улицу, сел на лавку у стены и достал магнитофон. Было уже темно, над стоянкой горели жёлтые фонари, и вокруг них вились мотыльки. Грузовики стояли рядами, с выключенными моторами, и у некоторых в кабинах горел свет.

Я поставил «ДЭННИ 1» и стал слушать «Carefree Highway» Гордона Лайтфута, ту, что была записана два раза. Я слушал её и думал о Дэнни, о матери, о Кэрол; думал, что сейчас дома ужин и мать, может быть, поставила на стол три тарелки по привычке, а потом убрала одну, и что Кэрол сейчас, наверное, одна у маяка. Ещё я думал, что за весь день проехал триста миль и никогда ещё в жизни не был так далеко от дома.

Мне не было грустно, и это меня удивило. Я ждал, что будет грустно, и даже немного хотел этого, потому что так было бы правильно, как в кино. Но грусти не было. Было что-то другое: я сидел на лавке у стоянки для грузовиков в городке, которого не знал, среди людей, которые не знали меня, и чувствовал себя так, будто вот-вот что-то начнётся. Будто я пришёл в кинотеатр слишком рано и сижу в зале, где уже погасили свет, но ещё не включили фильм, и экран белый, и все ждут.

Я ждал этого чувства потом много раз, и иногда оно приходило, а иногда нет. Но в первый вечер в Уиллитсе оно пришло само, без всякого спроса, и я сидел с ним, пока не кончилась сторона, и не стал переворачивать кассету, чтобы оно не ушло.

Глава четвёртая. Лосиный ручей

Я переночевал на лавке у кафе, завернувшись в мамин свитер и положив мешок под голову. Спал плохо, потому что мимо всю ночь ходили водители, хлопали дверцы и где-то за кафе лаяла собака, а под утро стало так холодно, что я встал и пошёл внутрь пить кофе. Официантка, немолодая, с волосами, собранными в тугий узел, налила мне вторую чашку бесплатно и спросила, давно ли я в дороге. Я сказал, что со вчерашнего дня. Она засмеялась и сказала, что это видно.

В восемь утра на стоянку въехал фургон «Фольксваген»: бело-оранжевый, весь в ржавых пятнах, с занавесками на окнах, и из него вылезли двое, парень и девушка, и пошли в кафе. Парень был худой, в армейской куртке, с длинными волосами, собранными в хвост, а девушка маленькая, в длинной юбке и в мужском свитере с растянутыми рукавами, из которых торчали только кончики пальцев. Они сели за соседний столик и заказали оладьи.

Не помню, кто из нас заговорил первым. Кажется, девушка, она спросила, не я ли тот парень с мешком, который спал на лавке, и, когда я сказал, что я, рассказала, что видела меня, когда они проезжали тут в шесть утра за бензином, и подумала, что я мёртвый. Сказала она это весело, как будто это было смешно, и я тоже засмеялся.

Её звали Сьюзан, но все звали её Санни, а парня звали Гарт. Они жили на ферме в горах, к востоку от Уиллитса, которую она назвала «Лосиный ручей», и приезжали в город раз в неделю за продуктами, керосином и почтой. Санни спросила, куда я еду, и я сказал, что не знаю. Она посмотрела на Гарта, Гарт пожал плечами, и Санни сказала:

— Поехали с нами. Нам нужны руки. Зима скоро.

Я согласился почти сразу, потому что торопиться мне было некуда, а любопытно было очень. Я слышал про такие фермы — про них писали в журналах, их показывали по телевизору, и в Сент-Эльмо о них говорили примерно так же, как о марсианах. Я подумал, что если где-то ищут смысл жизни, то, наверное, там.

* * *

Ферма стояла на склоне горы в конце грунтовой дороги, по которой «Фольксваген» полз два часа, переваливаясь на ухабах так, что мой мешок в багажнике несколько раз подпрыгивал до потолка. Там было пять или шесть строений: старый фермерский дом с просевшей крышей, сарай, два домика, сколоченных из досок и фанеры, вигвам из брезента, который стоял пустой и, кажется, был поставлен скорее для красоты, и баня у ручья. Ещё были огород, загон для коз и курятник. Вокруг стоял лес: дубы, мадроны с красной облезлой корой, а выше по склону ели.

Жило там четырнадцать человек, если считать троих детей. Старшему из взрослых было пятьдесят два, младшей, не считая детей, восемнадцать. Они приехали сюда в шестьдесят девятом и семидесятом годах из Беркли, из Сан-Франциско, из Лос-Анджелеса, а один из Огайо. Землю купил вскладчину человек по имени Уоррен Хейл, который раньше преподавал философию в университете.

Уоррен был старшим. Высокий, седой, с короткой бородой и в очках в тонкой стальной оправе, он говорил тихо и очень правильно, длинными предложениями, в которых всегда было придаточное. Принял он меня так, будто давно ждал: пожал руку, посмотрел в глаза, спросил, как меня зовут и откуда я, и, когда я сказал, что из Орегона, с побережья, что работал на консервном заводе, кивнул так, словно это было что-то очень значительное.

— Ты умеешь работать руками, — сказал он. — Это редкость. Большинство из нас пришли сюда, не умея ничего. Нам пришлось учиться заново.

Он сказал это без всякой иронии, и я понял, что он действительно так думает: что умение срезать плавники с лосося — это редкость. Мне стало одновременно смешно и приятно.

* * *

Я прожил на Лосином ручье девять месяцев, с середины сентября семьдесят пятого до июля семьдесят шестого.

Работы там действительно было много. В первую же неделю я перекрыл крышу на сарае, которая текла уже два года (в Сент-Эльмо все умели крыть крыши, потому что от дождя там некуда было деться), потом помогал Гарту колоть дрова на зиму, потом чинил загон, из которого козы уходили каждую ночь. Когда начались дожди, оказалось, что дорогу к ферме размывает, и мы с Гартм и ещё одним, которого звали Лео, неделю копали канавы и таскали камни, чтобы её укрепить.

Мне нравилась эта работа, хотя я не думал, что она будет мне нравиться. На заводе я работал, потому что надо было работать, и всё время думал о том, когда кончится смена, а тут работал и не думал об этом. Может быть, потому, что тут не было смены и никто не говорил, сколько нужно сделать, а всё, что ты делал, было нужно прямо сейчас: крыша, чтобы не текло, дрова, чтобы не замёрзнуть, канава, чтобы дорогу не размывало. Это было понятно. Я тогда первый раз подумал, что, может быть, вот это и есть то, что я ищу, это делать то, что нужно; мысль была простая, и я был ею доволен целую неделю.

Потом она перестала меня устраивать, и не потому, что была неправильной, а потому, что её было мало. Делать то, что нужно, хорошо, но нужно кому? Крыша нужна сараю, сарай нужен козам, козы нужны людям, а люди нужны — кому? Я поймал себя на том, что задаю этот вопрос, лёжа ночью в спальном мешке на полу в большом доме и слушая, как по крыше барабанит дождь, и не могу на него ответить. И я подумал, что, наверное, всё-таки ищу что-то другое.

* * *

Ещё на ферме много говорили.

Каждый вечер после ужина все собирались в большой комнате старого дома, у печки, и разговаривали; это называлось «круг». Уоррен говорил, что круг — самое важное, что у них есть, важнее огорода и коз, потому что в круге они учатся жить вместе, без лжи и без власти. В круге обсуждали всё: кто сегодня будет доить коз, нужно ли покупать новую пилу, почему Лео и Дебора поссорились, можно ли давать детям сахар. И ещё говорили о жизни, о том, как нужно жить, что было неправильно в мире, который они оставили, и что правильно здесь.

Сначала мне было интересно, потому что я никогда не слышал, чтобы люди говорили так открыто и подолгу о вещах, о которых в Сент-Эльмо не говорили никогда: о любви, о смерти, о Боге — не о том Боге, что в церкви, а о каком-то другом, которого они искали в индийских книжках и в тишине, о том, что такое свобода. Уоррен иногда читал вслух Торо, Уитмена, какого-то китайца, имени которого я не запомнил. Я сидел у стены, слушал и думал, что вот здесь, может быть, мне и ответят.

Мне не ответили, хотя не потому, что они не знали ответа или что ответ был плохой. У них было много ответов, и некоторые из них мне нравились. Уоррен говорил, что смысл жизни в том, чтобы быть здесь и сейчас, полностью, не думая о прошлом и о будущем. Дебора говорила, что смысл в любви, во всякой любви, к людям, к деревьям, к козам. Лео говорил, что никакого смысла нет и что это хорошо, потому что тогда ты свободен. Гарт обычно молчал, а если говорил, то о моторе «Фольксвагена».

Но со временем мне стало казаться, что эти разговоры похожи на что-то, что я уже знал, и я долго не мог понять, на что, пока не понял: на Сент-Эльмо. На то, как в Сент-Эльмо все знали, что Уэйд Хэллоран женится на Кэрл Линдквист и будет стоять за прилавком скобяной лавки. Тут тоже все знали, как надо, только вместо лавки было «здесь и сейчас», а вместо церкви — круг. И если ты говорил в круге что-нибудь, что не совпадало с тем, как надо, на тебя смотрели с той же самой мягкой жалостью, с какой мистер Линдквист смотрел бы на меня, если бы я сказал, что не хочу торговать гвоздями.

Я не хочу сказать о них плохо. Это были хорошие люди, по большей части добрые и честные; они приняли меня, ничего не спросив, и кормили всю зиму, и Санни связала мне шапку, а Уоррен дал мне книжку Торо, которую я потом долго возил с собой, пока не потерял в Неваде. Они искали того же, что и я, и, может быть, кто-то из них и нашёл. Но мне показалось тогда, что смысл, который ищут все вместе, по вечерам, у печки, по правилам, это уже не тот смысл, который нужен мне. Мне нужен был какой-то другой, и я не знал какой.

* * *

Про траву я матери тоже не писал.

На ферме курили все, кроме детей и Уоррена, который говорил, что ему это больше не нужно. Марихуану выращивали тут же, на поляне за ручьём, между кустами черники, и в сентябре сушили на чердаке старого дома, так что весь дом пах ею, как пахнет сеном сеновал. Её курили вечером после круга, передавая самокрутку по кругу, и я тоже курил. Мне от неё делалось смешно и хотелось есть, а потом клонило в сон, и ничего больше. Я ждал, что она мне что-нибудь откроет, ведь про неё говорили, что она открывает, но мне она открыла только то, что ореховое масло, если есть его ложкой из банки в два часа ночи, очень вкусное.

В декабре Лео привёз из Сан-Франциско кислоту.

Это были маленькие квадратики промокательной бумаги с нарисованными на них синими звёздочками. Лео раздал их после круга, по одному, как раздают облатки, и сказал, что сегодня мы все увидим то, что всегда было у нас перед глазами. Уоррен не стал отговаривать, сказал только, что это серьёзно и что каждый должен решить сам. Я решил. Мне было двадцать лет, я приехал искать то, что всегда было у меня перед глазами, и вот мне протягивали его на кончике пальца.

Я не буду описывать эту ночь подробно. Скажу только, что это было самое страшное, что случилось со мной до Рицвилла. Сначала было хорошо: огонь в печке стал живым и разговаривал, у Санни выросли из волос листья, и мне было смешно и тепло. А потом я вышел во двор, к ручью, и посмотрел в воду. И в воде был отец.

Он лежал на дне, лицом вверх, с открытыми глазами, и вода шевелила ему волосы. Он был такой, каким его, наверное, нашли бы через неделю, если бы нашли, и мать была права, что этого не случилось. Я знал, что это неправда, что это бумажка с синей звёздочкой, понимал это всё время, и от того, что понимал, было ещё хуже, потому что отвести глаз я не мог. Я простоял у ручья, кажется, несколько часов, пока меня не нашёл Гарт. Он отвёл меня в сарай, к козам, потому что в доме было слишком много людей, усадил на солому и сидел со мной до утра, ничего не говоря, и только когда я начинал кричать, клал мне руку на затылок и держал, как держат голову ребёнка.

Утром всё кончилось, но не совсем. Ещё недели три я не мог подойти к ручью за водой. Я просыпался ночью оттого, что сердце колотилось так, будто я бежал, и лежал в темноте, мокрый, боясь закрыть глаза. Днём, за работой, вдруг накатывало: край зрения начинал дрожать, руки холодели, и я садился прямо на землю и ждал, пока пройдёт. Я никому не говорил, потому что мне было стыдно. Остальные наутро рассказывали в круге, как прекрасно было, кто что увидел, какое единство со всем сущим они ощутили, а я молчал.

* * *

Недели через три после той ночи ко мне в баню пришла Дебора.

Баню топили по субботам и мылись по очереди, по двое, по трое; на ферме никто не стеснялся наготы, и я первые месяцы краснел, а потом привык. В ту субботу я засиделся последним. Дебора вошла, когда я уже собирался одеваться, закрыла за собой дверь на щеколду и села на полку напротив меня.

Ей было тридцать два года. Она была крупная, широкая в бёдрах, с тяжёлыми рыжими волосами, которые закручивала узлом на затылке, и с веснушками на плечах и на груди. Она была подругой Лео, все это знали, и я сказал ей об этом.

— У нас тут никто никому не принадлежит, — сказала она. — Лео знает. Он сам так говорит.

Она сказала, что видела, как я сидел у ручья, и видела, как я потом обхожу ручей стороной, что Гарт ей рассказал и что она не будет меня ни о чём спрашивать.

Потом она распустила волосы.

Я до неё был только с Кэрл, а Кэрл была такая же неумелая, как я, и мы оба учились наощупь, в тесной машине, в спешке. Дебора никуда не спешила. Она была старше меня на двенадцать лет и знала о своём теле и о моём больше, чем я мог себе вообразить, и не стыдилась этого знания, и не давала стыдиться мне. В бане было жарко, пахло смолой и мокрым деревом, печка потрескивала, и пот тёк по нам обоим так, что ладони соскальзывали. Я помню, как в какой-то момент она взяла моё лицо в руки и сказала: «Смотри на меня. Не туда. На меня». И я смотрел и в первый раз за три недели забыл про ручей.

Это случалось ещё несколько раз, до конца зимы, всегда в бане, всегда по субботам, и всегда она приходила сама. Мы почти не разговаривали ни до, ни после, а днём, за общим столом, она вела себя со мной так же, как со всеми.

Лео ничего не сказал. Он действительно говорил, что никто никому не принадлежит, говорил это в кругу много раз, красиво. Но в январе я заметил, что он перестал смотреть мне в глаза, а в феврале он стал ездить в Юкайю один, на попутках, и возвращался через два-три дня, худой, сонный, с узкими, как булабочные головки, зрачками, и подолгу спал в фургоне, завернувшись в спальник.

Зимой на ферме было трудно. Дожди шли неделями, дорогу развезло, и в Уиллитс не могли выбраться почти месяц, так что кончился керосин и вечерами сидели при свечах. Двое детей заболели, и одна из женщин, Марша, хотела везти их в больницу, а Уоррен говорил, что в больнице их только отравят лекарствами и что лучше лечить травами. Они спорили в кругу три вечера подряд, а на четвёртый Гарт молча завёл «Фольксваген» и, несмотря на дорогу, отвёз Маршу с детьми в город. У детей оказалось воспаление лёгких, и их вылечили. Уоррен потом сказал в кругу, что Гарт поступил правильно, а сам он был неправ, и сказал это так хорошо, так искренне, что все ему тут же простили. Я тоже простил. Но я запомнил, что Гарт не стал ждать круга.

На Рождество я написал матери. Это было моё третье письмо: первые два я написал из Уиллитса, в октябре и в ноябре, коротко — жив, работаю, кормят. В рождественском я написал подробнее, о ферме, о козах, о крыше, но про круг не написал, сам не знаю почему. Мать ответила в январе, и её письмо было ещё короче моих. Она писала, что дома всё хорошо, Дэнни здоров, зима мягкая, Нильс простудился, но уже поправился, а на месте завода хотят сделать склад для лодок. В конце она написала: «Кэрл спрашивала про тебя. Я сказала, что ты в Калифорнии». Больше ничего про Кэрл не было.

Я перечитывал это письмо много раз, пытаюсь понять, что значит «спрашивала». Как спрашивала, какими словами? Мать, конечно, не написала, потому что никогда не рассказывала, кто что сказал у её решётки.

* * *

В марте Лео умер.

Его нашёл Гарт, утром, в «Фольксвагене», где Лео ночевал последний месяц. Он лежал на матрасе, на боку, поджав ноги, губы у него были синие, а лицо серое, как зола в печке, и рядом валялись закопчённая ложка, огарок свечи и шприц. Он был ещё тёплый и ещё дышал: редко, с хрипом, раз в полминуты. Гарт закричал, и я прибежал первым.

Мы повезли его в Уиллитс. Гарт гнал «Фольксваген» по грунтовке так, что нас подбрасывало до потолка, а я сидел сзади на матрасе, держал голову Лео у себя на коленях и считал его вдохи, потому что не знал, что ещё делать. Дебора сидела рядом и всё время повторяла

его имя. Где-то на середине дороги я перестал слышать его дыхание и сказал Гарту, но Гарт не обернулся и не сбавил скорость.

В больнице сказали, что он умер за час до того, как мы приехали, что это героин и что, судя по рукам, он кололся недели три, не меньше. Врач, пожилой, усталый, спросил, кто мы ему. Дебора сказала: «Семья». Врач посмотрел на её длинную юбку, на мою шапку, связанную Санни, на армейскую куртку Гарта и ничего не сказал.

Лео похоронили на кладбище в Уиллитсе, за счёт округа, потому что родные, когда им дозвонились в Огайо, приехать отказались. В кругу Уоррен говорил о нём долго и хорошо — о том, что Лео искал свободу, что каждый ищет её своей дорогой и что мы не вправе судить. Все плакали. Я сидел у стены и думал о том, что держал Лео за голову, когда он перестал дышать, и что никакой свободы в этом не было, а был синий рот и запах рвоты и мочи на матрасе, который мы потом сожгли за сараем.

Дебору я видел вечером у ручья. Она сидела на камне, обхватив колени, и смотрела в воду, туда, где я когда-то видел отца. Я хотел подойти и не подошёл. В бане она больше не появлялась, а я больше её не ждал.

Я не знаю, что было бы, если бы я тогда не приходил в баню. Может быть, ничего; может быть, Лео всё равно поехал бы в Юкайю: у него и до меня хватало причин. Я не знаю. Я знаю только, что ни разу ни с кем об этом не говорил и что Лео, может быть, был первым из тех, мимо кого я проехал.

* * *

Весной стало легче — во всяком случае, с хозяйством: дороги высохли, козы окотились, в огороде что-то взошло. Я научился доить коз, и у меня это получалось лучше, чем у всех, кроме Деборы, которая говорила, что у меня хорошие руки. На мадронах начала облезать кора, и под ней была новая, гладкая, зеленовато-жёлтая, тёплая на ощупь, как кожа; я любил трогать её, когда шёл к ручью за водой.

В апреле Санни попросила у меня магнитофон, чтобы записать, как поют дети, и я дал ей одну из своих чистых кассет. Она записала детей, а когда дети кончились, записала себя: она пела песню, которой я не знал, на каком-то непонятном языке, высоким тонким голосом, сидя на крыльце, и было слышно, как рядом кудахчут куры. Потом она отдала мне кассету и сказала: «Оставь себе. На память».

Я оставил, и эта кассета до сих пор у меня. На ней две минуты детских голосов (они поют «Old MacDonald Had a Farm», путая слова и смеясь) и потом четыре минуты Санни. Я не знаю, что это за язык. Санни говорила, что сама его не знает: ей пела эту песню бабушка, которая была откуда-то из Европы, и Санни запомнила звуки, но не слова. Через много лет одна женщина в Сан-Франциско послушала и сказала, что это, кажется, литовский, но и она не была уверена.

* * *

Летом семьдесят шестого вся страна праздновала двухсотлетие.

На ферме решили не праздновать. В кругу долго обсуждали, что это праздник той Америки, которую они оставили, Америки войны, денег и лжи, и что им нечего праздновать. Говорили хорошо, убедительно, а я сидел у стены и слушал. Когда круг кончился, я подошёл к Гарту и спросил, не едет ли он в город четвёртого. Гарт посмотрел на меня, усмехнулся и сказал: «Еду».

Четвёртого июля мы с Гартом поехали в Юкайю. Там был парад: пожарные машины, оркестр местной школы в красно-синих мундирах, ветераны в пилотках, девочки на велосипедах с лентами в спицах, а вечером фейерверк над озером. Мы стояли в толпе и смотрели. Вокруг были семьи с детьми, старики на складных стульях, подростки с бенгальскими огнями, полицейский, который ел мороженое, и пахло порохом и жареной кукурузой. Гарт стоял, засу-

нув руки в карманы армейской куртки, и смотрел на небо, и лицо у него было такое, как будто ему больно. Я спросил его, что случилось. Он сказал:

— Ничего. Просто красиво.

Потом он сказал, что его отец был пожарным во Фресно и что он не видел его шесть лет.

Мы вернулись на ферму за полночь, а утром я собрал мешок.

Я не могу объяснить, почему ушёл именно тогда. Ничего не случилось: никто меня не обидел, никто не прогонял. Я просто проснулся пятого июля и понял, что пора так же, как понял тогда на причале в Сент-Эльмо, что уеду. Это чувство пришло ко мне во второй раз и было таким же — не решением, а знанием, которое уже есть и которое нельзя забыть.

Я попрощался со всеми за завтраком. Уоррен пожал мне руку и сказал, что я всегда могу вернуться, Дебора поцеловала меня в щёку, а Санни обняла и долго не отпускала. Гарт отвёз меня в Уиллитс на «Фольксвагене» и всю дорогу молчал, а на стоянке, той самой, где я его встретил, сказал:

— Я тоже скоро уйду. Наверное, осенью.

Я спросил куда.

— Домой, — сказал он. — Во Фресно. К отцу.

Я не знаю, ушёл ли он. Никого из них я больше никогда не видел. Через несколько лет, в восемьдесят втором, я проезжал мимо Уиллитса и хотел свернуть на ту грунтовую дорогу, но не нашёл поворота: может быть, его застроили, а может быть, я просто забыл, где он. Я не стал искать.

Глава пятая. Яблоки

Из Уиллитса я поехал на север. Не потому, что хотел вернуться домой, я твёрдо знал, что не вернусь, а потому, что на стоянке какой-то водитель сказал, что в Вашингтоне, в долине Якима, в августе начинают собирать фрукты и берут всех, кто может стоять на лестнице. Я подумал, что могу стоять на лестнице.

Дорога заняла четыре дня. Я ехал через секвойи обратно до Кресент-Сити, потом по сто девяносто девятому через горы в Грантс-Пасс, потом по пятой автостраде на север до Портленда, а оттуда на восток, вдоль Колумбии, и через перевал на север, в Якиму. Я видел вулканы — Трёх Сестёр издали, из-под Юджина, белых, с облаком над средней, будто она курит, потом Маунт-Худ, потом, уже в Вашингтоне, Адамс и Рейнир. Видел я, хотя тогда и не запомнил, и гору Сент-Хеленс: водитель, который вёз меня от Портленда, показал на неё рукой, и я посмотрел и подумал, что она ниже остальных и красивее, круглая, как перевёрнутая чашка. Я не знал тогда, что через четыре года увижу её ещё раз — вернее, не её саму, а то, что от неё останется.

За эти четыре дня меня подвезли одиннадцать человек, и я начал их записывать на обороте карты, мелко, карандашом: где взял, куда довёз, кто. «Грантс-Пасс — Роузберг, старик, пикап, собака». «Роузберг — Юджин, двое студентов, «Датсун», курили траву, предлагали». «Юджин — Портленд, женщина, продаёт косметику, рассказывала про мужа». Я не знаю, зачем я это делал. Может быть, затем, чтобы оставалось хоть что-то: люди подвозили меня и исчезали, и я подумал, что если их не записывать, то будет так, как будто их не было.

Потом я записывал всю дорогу, все девять лет, и у меня скопилось несколько карт и два блокнота, исписанных такими строчками, больше тысячи. Я перечитываю их иногда. Большинство людей я не помню совсем и знаю только по этим строчкам: «женщина, «Бьюик», пела». Кто она, куда ехала, что пела, я не знаю. Но она была, и она остановилась.

* * *

Сезон в Якиме ещё не начался, и до конца августа я перебивался подённой работой на хмельниках под Топпенишем: подвязывал плети, ночевал в палатке у оросительного канала и ждал. Потом, в бюро по найму сезонных рабочих, меня записали на сад к северу от города, к человеку по фамилии Ванденберг. Сад был большой, триста акров яблонь, и ещё груши. Рабочих жило там человек шестьдесят, в длинных бараках из шлакоблоков, с железными койками в два яруса и с одной кухней на всех, и почти все были мексиканцы. Белых, кроме меня, было трое: двое пожилых братьев из Оклахомы, которые ездили по садам каждый год с тех пор, как вернулись из Кореи, и парень из Монтаны, который ушёл через неделю.

Меня поставили в пару с Рафаэлем Ортегой.

Ему было тридцать четыре года. Он был невысокий, широкий в плечах, с круглым тёмным лицом и с усами, которые подстригал каждое воскресенье маленькими ножницами, сидя на пороге барака с зеркальцем. Он приехал из Мичоакана, из деревни, название которой я так и не научился выговаривать, и работал в Штатах уже девятый сезон: весной клубника в Калифорнии, летом вишня в Орегоне, осенью яблоки здесь, а зимой он возвращался домой, где у него были жена и пятеро детей. Их фотографию он показал мне в первый же вечер: женщина в цветастом платье и пятеро детей мал мала меньше, выстроенные по росту у белой стены.

По-английски он говорил плохо, но понятно, а я по-испански не говорил совсем, и всё-таки мы как-то договаривались.

Он научил меня собирать яблоки. Это кажется простым делом, но это не так. Нужно уметь ставить лестницу: она трёхногая, и ставить её нужно так, чтобы третья нога упиралась в землю под правильным углом, иначе упадёшь. Нужно уметь носить сумку, большую, брезентовую, которая висит у тебя на груди и, когда полная, весит сорок фунтов, и это нужно таскать вверх и вниз по лестнице весь день. Нужно уметь срывать яблоко: не дёргать, а поворачивать,

приподнимая, чтобы черешок остался на яблоке, а не на ветке, и чтобы не сорвать заодно почку на будущий год. Нужно уметь высыпать сумку в ящик: открываешь снизу клапан и опускаешь её до самого дна, медленно, чтобы яблоки не побились, потому что побитое яблоко это уже не яблоко, а сок, а за сок платят меньше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.